

Подъезжаем... На острове никого. — Что за оказия? Кто мог снять гостя с острова, когда на озере перевозочных средств и есть только один наш монитор.

Вдруг в камышах, вблизи острожка, из воды с шумом вынырнуло что то громадное, белое, все в тине и водорослях... И в тот же миг меня оглушил Еськин смех. Я никогда не слышал, чтобы Еська смеялся, да и сам он едва ли когда слышал свой смех. Да и не смех это был, а так, как если бы мешок орехов просыпался бы с высоты на деревянный пол.

За Еськой неудержался и я и тоже рассмеялся. Фигура опять плюхнула в воду, как бегемот, а над кругами воды мы увидели целую тучу ос. Видя, что враг скрылся, осы стали разлетаться, но белая, разукрашенная зеленой тинной фигура опять вынырнула и осы снова завились над нею. Еська неудержимо трещал смехом, судорожно изгибаясь в пояснице.

— Чего смеешься, дубина! гаркнул вдруг громовой бас и фигура снова булькнула в воду.

Сообразив, что дубин то, собственно, две, я перестал смеяться. Оборвал сразу, так же, как и начал, свой истерический смех и Еська... Мгновение и он прыгнул на берег, схватил снайперского нарезанного еще с осени и забытого здесь сухого камышу, поджег его и с таким факелом смело бросился разгонять ос.

С трудом втащили мы нашего горе-охотника в лодку, так она все время норовила перевернуться вверх дном, а тут еще осы, напали и на нас. Но поехали.

А случилось вот что. Как человек сухопутный, наш охотник, высадившись на остров, почувствовал себя опять прекрасно. С наслаждением расправил отеки в лодке ноги и уселся на один из старых пней, но в тот же момент и вскочил. В пне оказалось огромное гнездо ос. В этих местах осы часто строят свои гнезда величинею с казачью попку. Больно ужасенный полковник, с досады, и выстрелил в гнездо! Вот тут то осы и взяли его в оборот. Второй выстрел разогнал было ос, но, отлетев недалеко, осы опять перешли в атаку. Потрясающие звуками выстрелов и пороховым дымом, повывлетали осы и из других гнезд, так как, конечно, и в других пнях были гнезда, и все это, соединившись, образовало целую тучу; она и напала на врага. Выс-

трелил он из двух стволов, — осы разлетятся, а пока он зарядит ружье — они, еще болес озлившись, опять набросятся на врага. Все патроны расстрелял, бедняга, и тогда осы загнали его в воду. Долго нырял наш гость, пока не отбили мы его.

Однако, этим еще не кончились наши беды в этот злосчастный день. Ведь, праздник! Народу по улицам и на берегу — вся станица. Как его провезешь в таком виде? Казаки еще, конечно, туда-сюда, а вот девки да бабы! Им, ведь, только подай! И пришлось сидеть в камышах до сумерок, да откачивать воду из монитора.

Поздно ночью, кое как обсушившись и перевязав мокрыми полотенцами сильно искусанные шею, плечи и руки, уехал мой неудачный гость домой.

Прошла неделя. Полный надежд и решимости, помчался я в Ставрополь. По обыкновению, остановился у знакомого, послал с мальчиком отборных уток барыне воинского начальника и с нетерпением стал ожидать обычного приглашения на ужин.

Сегодня же скажу все Верочке, — решил я. — Что тянуть, пора!

Мальчик вернулся, неся и уток моих обратно.

— Что такое?

— Барыня сказали — не надо.

— Ну, и больше ничего?

— Больше ничего не сказали.

— Не может быть!

Вечером, едва дождавись его, пошел в парк. Там паверно будет гулять Верочка. — Увижу и все выяснится.

Игнат Максимович помолчал с минуту, как будто вспоминая что то важное в жизни.

— И действительно... увидел... Подошел...

— Здравствуйте!

Холодный поклон.

Еще две, три фразы. Молчание.

Ну и ушел... и ушел навсегда. Да вот и до сего времени — один... С ноткой грусти заключил он.

— И как подумаешь... Чего на свете не случается и от чего только не зависит судьба человека. Вот и теперь. Кто же, как не осы судьбу мне испортили?...

Любовь Самсонова.

MEDITATION.

Я все хочу забыть, что было раньше,
Я вычеркнуть хочу страницу грустных лет,
Все слезы, все страдания, все муки
Прошли, забылись, их нет!..

Есть только брезжущее розовое утро
И белые цветы в росе
И чайные проснувшегося солнца,
И трепет возрождения в душе!..

Санжа Балыков.

От матери.

Знать комар меня куснул: тирнул я, в полусне, по носу и проснулся. Открыл глаза... смотрю... в кибитке уже темно, тихо: в верхнее отверстие ее, с высокого темного неба частые звезды мигают; слабо мерцаая, распространяя запах горелого масла, потухает лампадка перед божницей. На нашей широкой деревянной кровати, спиной ко мне, спит мать, за мной, повыше моей головы, на двух подушках, тихо посапливая, спит сестрѣвке в пеленках. Тишина в природе, только какая корова кашляет иногда, да собака где-то лениво гавкает и опять все тихо.

... „Когда же это я лег... как заснул... что я ел перед сном“... начал я лениво думать, потирая нос.

С. Савицкий.

КОЗАЧИЙ ПОХІД.

То не море хвилює й не нітер шумить,
То козачі полки виступають,
Над полками — прапори; музика гремить;
Як орли коні скачуть, літають.

Перед ними квітчастий килим миготить,
— Стель широкий, як море безкрає.
По над степом орел сизокрилий летить,
Побратимів в дорозі вітає.

„Э!.. ведь я еще засветло лег, в сумерках, когда мать еще доила коров... а чаю с горячими бордыками, значит, не нашлся; значит я голоден, меня не разбудили, не накормили“, — мелькнуло у меня и я уже рассердился.

„Начего, я могу и сейчас скупать борцык, да и чаю мама может согреть“...

— Мама, а, мама! Проснитесь, дайте мне борцык и чаю, я хочу есть, — начал я плаксиво, тормоша мать.

— Что ты? Кто же ночью пьет чай? Не умрешь до утра, вечером тебя будила, ты отказался, говорил, что сыт, спать хочешь, а теперь уже за полночь, те-

перь нужно спать, деточка. Спи, сыночек, во сне тебе добрая белая мышка на серебрянном блюдечке чай принесет. Спя, не хнычь, — заговорила мать, укрывая меня одеялом.

— Не хочу я спать! не усну! дай чаю... ааа!! — заревел я на всю кибитку.

— Замолчи, дурной, сестренку разбудил! и какой же ты скверный мальчик, ну во всем хотоне нет мальчишки хуже тебя. Ну-ка, помолчи, я тебе что-то скажу...

— Чью дашь...

— Послушай, Сармуш, когда ты был маленький, вот как сестренка, ты был такой плакун, что не сыскать, а теперь ты уже большой, тебе скоро пять лет будет и как тебе не стыдно капризничать, будить ночью маму, плакать... — начала полусердито укорять меня мать.

Укоры эти на меня подействовали, но никак я не мог сразу перестать плакать и, все еще всхлипывая, сказал:

— Не пра-а-ав...да... ты неправду... говоришь... Я не был плакун, когда был маленьким.

— Да, неправда! Ты послушай, как на за твоего крика меня бешеная собака чуть не разорвала, — заговорила мать, видимо обрадованная случаем занять и отвлечь меня от моей мысли о чае с борщиками.

— Расскажи — проговорил я, глубоко вздыхая.

— Было тебе тогда около года и такой ты был плакун, что не рассказать; иногда, прямо таки хотелось выбросить тебя за дверь, собакам... Однажды летним днем, так приблизительно в обед, когда в хотоне нашем не было мужчин, а бабы все почти спали в тени кибиток, прибежала какая-то незнакомая черная собака с опущенным хвостом, с горящими красными глазами, с пеной у рта и начала рвать телят, гоняться за собаками.

Все большие собаки нашего хотона вмиг куда-то исчезли, только глупые щенята попадались ей, которых она ловила, душила и разрывала на клочья.

Все в хотоне поняли, что собака бешеная и потому исполошились, вмиг скрылись по кибиткам и позакрывали двери на оба засова...

— А ты, мама?

— Ну и я тоже.

Ты, сынок, только что выкупанный в холодной воде, досыта накормленный, спал на левой кровати. В щелку кибитки я начала следить за собакой. А она, погнавшись за одной нашей курицей, наткнулась на твоего маленького, беленького щенка, которого я не успела зазвать в кибитку, и тут же возле кибитки, как раз против твоей постели, начала его душить.

Щенок завизжал, от его визга проснулся ты и, по обыкновению, начал во все горло плакать. Я пыталась тебя укачать, давала грудь, но ты плакал все сильнее и громче.

Бешеная собака сперва прислушалась к твоему голосу, потом принялась рваться в кибитку... — Пригаясь, стараясь не дышать, слушал я мать. Дремотный летний день, бешеная собака в маленьком, затерянном среди степи, хотоне, моя мать с плачущим ребенком — так ярко пронеслось в моем мозгу, что я притих и невольно прижался к матери.

Она, между тем, продолжала:

— В одну минуту собака изорвала наружную полсть и, просунув морду в отверстие кибиточной решетки — „терме“, пыталась проникнуть внутрь, чтобы добраться до нас с тобой.

Я не знала, что делать, только, призывая на помощь Бога, без конца повторяя „Дярке, Дярке!“ — бегала по кибитке.

Вдруг пришла мне в голову мысль: спрятать тебя под большой котел. Живо положила тебя на землю, притащила большой котел для кумыса и опрокинула его над тобой, а чтобы ты не задохнулся, подложила под краешек щепочку.

Ты все продолжал орать и под котлом.

А собака в это время уже прорвала две петли в решетке и, просунув всю голову, старалась вороваться в кибитку.

Весь хотон словно вымер, все заперлись и сидели в страхе, а мужчин все не было; они возились при табуне, в степи; помощи ждать было неоткуда.

Видя, что через минуту собака начнет меня рвать, я бросилась на колени перед божницей и стала громко молиться.

Стоило собаке прорвать еще одну петельку в решетке и она бы уже была в кибитке.

Помолившись, плача стала прикладываться головой к статуе Будды и вдруг я увидела на сундуке рядом с божницей большие ножницы для стрижки овец.

Тут озарила меня мысль:

„Что же я, дура, плачу... нужно вооружиться этими ножницами и повиколоть собаке глаза, пока она еще не свободна и не может броситься на меня; это Бог мне указывает...“

Взяла я ножницы и, не переставая шептать молитву, стала подходить к собаке.

Она рвалась изо всех сил и, уже просунув одну ногу, вот-вот готова была вороваться в кибитку. Она хрипела, рычала, оскаляя зубы, брызгалась слюной.

Я стиснула зубы и дрожащей рукой ткнула острием ножниц в глаз собаке.

Она хрипло навизгнула, из глаза брызнула кровь, но все же продолжала рваться вперед.

Я обшла собаку и, подойдя с другого боку, шпунула в другой глаз.

Тут она начала уже рваться назад, но не могла вырваться; голова почему-то не проходила обратно.

Тогда выбежала я из кибитки и стала кричать и звать на помощь соседей.

Две-три из них прибежали на мой зов и мы общими силами убили собаку коромыслами, колами и топором.

Когда я подняла котел и взяла тебя, ты был весь синий и едва дышал; так сильно ты плакал...

Во все время рассказа я лежал не шевелясь, сжав кулаки и стиснув зубы.

Когда мать кончила, и сдавленным голосом прошептала:

— Мама! Я теперь не буду плакать.

— Вот видишь, не надо ночью плакать, бешеные собаки всегда идут на плач детей — говорила она, прижимая меня к себе и гладя по головке.

— Мама, а ты же всегда мне говоришь, что нельзя убивать ни мышь, ни ежа, ни щенчиков, никого — все живое нельзя убивать, а сама убила собаку; ты большой грех сделала, да?

— Нет сынок... эта собака была бешеная; она хотела и меня и тебя разорвать, как же ее не убивать; ее не грешно убить.

— Значит, бешеную собаку можно?

— Да.

— А ядовитую змею?

— Можно.

— А человека, который хочет тебя задушить?

— Человека?.. Ну, спи, спи, деточка, довольню.

— Скажи, мама, а человека?

— Если человек хочет тебя бить, нужно бежать к маме.

— А если он догонит и поймает?

— Ну, тогда защищайся! Сам нападай!

— Ага!.. надо защищаться... нападать...

„Чрик! чрик! чрик!“ — трещал где-то ночной кузнечик.

„И где он чирикает, днем никак его не найдешь“ — думал я, но глаза мои слипались и туман обволакивал мысль...

Прошло много, много лет с тех пор; много пришлось испытать, пережить, позабыть, но ночной рассказ матери помню, как будто это было вчера; образ самой матери уже стал неуловим, но тот ее рассказ крепко сидит в уголке памяти.